

Михаил **Б** **УБЕННОВ**

Михаил БУБЕННОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

том
3

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА
1982

Орлиная степь

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Утром в степи появились орлы. Они прилетели сюда издалека — на властный зов жизни. Немного отдохнув, они вновь поднялись с земли и, быстро набрав высоту, достойную их могучего, вольнолюбивого племени, тут же ворвались в незримо кочующие над степью воздушные потоки: нет ничего сильнее чудесной страсти парящего полета! Расправив бурые, со светлыми пестринами, ловкие и чуткие крылья, лишь изредка трогая ими воздух, орлы начали стремительно выписывать в раздольном поднебесье огромные круги.

Дождавшись своего часа, степь уже выходила из-под снега. Там и сям бездонно мерцали темной синью озера и залитые полой водой низины, и над ними, не стихая, мельтешило охочее до приволья, разогретое призывами весны неутомимое птичье царство. Кое-где ослепительной белизной сверкали на солнце голые березовые перелески. Огромными серыми шкурами лежали проталины ковыльной целины. Но даже зоркое орлиное око не могло разглядеть, где край этой необъятной степи.

Под вечер, вдоволь налюбовавшись степным привольем, орлы попарно опустились на землю, чтобы выбрать места для ночевки. Одна пара, припоздав, шумно снизилась на проталине с куртинами низкорослых, но непролазных тарначей. Едва коснувшись земли, орел сделал несколько сильных, порывистых прыжков, расплескивая помятый ковыль, затем вдруг замер на месте и предостерегающе щелкнул стальным клювом. Тут же позади остановилась его подруга. Крупные и красивые птицы, не двигаясь, некоторое время сторожко и зорко осматривались вокруг: здесь было надежное для поселения место. Куртины тарначей сплошь забиты колючими шарами перекати-поля, а над изрытой сусликами целиной всюду поднималось густое обтрепанное разнотравье. На фоне далекой кромки неба торчали кисти полыни и

бескильницы, висели пустые колоски житняка и метелки лисохвоста. Особенно высоко поднимались сизые кусты волоснеца да покрытые шерстистым войлоком стебли медвежьего уха.

Успокоясь, орлы вышли на чистень и долго стояли здесь рядом, стояли мирно и величаво, задумчиво щура на вечернюю степь мудрые глаза.

Через несколько дней, обжив в тарначах уютное место, орлы начали строить гнездо. Иногда, заспорив о чем-то, они бросались друг на друга, гулко хлопая тугими крыльями, а спустя время, успокоясь, видели, что все собранное для гнезда было раскидано вокруг или висело на ветках таволожки.

И работа начиналась сначала.

Это были молодые орлы. Они строили первое в своей жизни гнездо...

II

Озаренная весной света, высоко вздымалась над землей Москва. Как никогда в другое время, открывала она теперь свои просторы. Даже с большой высоты нельзя было объять ее одним взглядом. У нее не было границ; казалось, она расходится проспектами и бульварами во все концы нашей страны. И над всей ее беспредельной панорамой в солнечном половодье ослепительно поблескивало белое каменье и стекло, жарко вспыхивало золото...

Леонид смотрел на город из окна.

— Все любишься? — спросила мать.

— Да, смотрю... — ответил Леонид.

— Отсюда есть на что посмотреть! Красота! Не то что из нашего оврага...

— Не вспоминай!

— Не на земле — в земле жили.

Прасковья Михайловна перестала греметь посудой и выпрямилась у стола. Она была маленькая, сухонькая, с пучком седеньких волос на затылке, в простенькой, но опрятной юбке и кофте из немаркого материала. Быстрым взглядом светлых глаз Прасковья Михайловна окинула стены комнаты в бирюзовых обоях, ее бедное убранство и вдруг даже порозовела от избытка счастья. Так случалось уже много-много раз за месяц жизни в

этой новенькой и чистенькой комнате в огромном нарядном доме — на такой высоте, что дух захватывало...

— Теперь нам здесь жить да жить!

Но на этот раз Леонид почему-то промолчал. Прасковья Михайловна пытливо присмотрелась к его высокой, дюжей фигуре. «Задумчивый стал, весь в отца, — рассудила она про себя и со вздохом решила, что в простенке между окон надо повесить портрет мужа, погибшего во время войны. — О чем думает он? Может, о женитьбе? Пора бы, что теперь медлить? Стесняется, видно, сказать. Ах, сынок, сынок, да чего же матери-то стесняться?» В этот момент Леонид неожиданно обернулся, и Прасковья Михайловна, увидев его лицо, замерла в тревоге. Лицо Леонида было спокойно-суровым, даже властным, каким бывало у мужа, когда он брался за тяжелое дело, а большие серые глаза казались дерзкими и светились необычайно ярко.

— Леонидушка, да что случилось-то? — с зампрающим сердцем проговорила Прасковья Михайловна. — Ты что молчишь? Может, ты стесняешься сказать? Ты говори...

— Я уезжаю, — потупясь, ответил Леонид.

— Уезжаешь? Куда же это?

— На Алтай, мама.

Некоторое время Прасковья Михайловна никак не могла понять, почему сыну непременно надо ехать на Алтай. Леонид усадил мать на диванчик, сел рядом с ней, вытер своим платком ее заплаканные глаза и попытался объяснить, как пришло к нему решение ехать в далекий край, но мать, плача, глядела на него так растерянно, что пришлось замолчать и терпеливо выждать, пока она сама справится со своей внезапной слабостью.

Восвободясь из рук сына, Прасковья Михайловна наконец-то переспросила далеким печальным голосом:

— Стало быть, уезжаешь?

— Надо, мама, — произнес Леонид.

— И никак нельзя... не ехать?

— Нельзя, мама.

— Ты все об этом думал?

— Дело-то ведь вон какое! — сдержанно ответил Леонид. — Помнишь, как отец, бывало, говорил? «Хлеб — всему голова».

«Отца вспомнил,— подумала Прасковья Михайловна.— Значит, уедет. Не удержать...»

Разгадав ее мысль, Леонид подтвердил:

— Уеду, мама, уеду...

— Тянет тебя к земле,— промолвила Прасковья Михайловна жалобно.

— Это правда,— согласился Леонид.

— Всех бы так тянуло,— проговорила Прасковья Михайловна очень тихо и грустно.— Что же делать там будешь? Пахать целину?

— А что? Трактор я хорошо знаю.

— Инженер — и сядешь на трактор?

— Сяду и буду пахать!

Прасковья Михайловна с горечью вспомнила, как ее Леонид десять лет подряд, часто не зная отдыха, отказывая себе в развлечениях, работал на заводе и учился: сначала в вечерней школе рабочей молодежи, а потом в вечернем институте. Десять лет она видела сына чаще всего склонившимся над книгой. Иногда ее не столько радовало, сколько пугало его упорство. Совсем недавно наконец-то сбылась их мечта: он получил диплом инженера. И мать заметила со вздохом:

— Только выбился...

Вспомнила Прасковья Михайловна и о том, с каким чувством перебирался Леонид из гнилой халупы, ютившейся в овраге, в новый дом, как готовился в ближайшие дни, немного пообставив комнату, справить шумное новоселье. Тогда казалось, что жизнь в новом доме он считал превыше всего. Втайне дивясь незоркости своего глаза, Прасковья Михайловна спросила с грустью:

— Опять в халупе жить будешь?

— Вполне возможно,— ответил Леонид.

Больше не о чем было говорить, и Прасковья Михайловна замолчала. Довольный тем, что разговор с матерью все же закончился мирно, Леонид оживился и сообщил:

— Сейчас пойду в комитет.

— Сегодня же воскресенье,— напомнила мать.

— Сейчас все там...

Прасковья Михайловна вдруг смутилась тем особым смущением, какое бывает у родителей, беседующих с

детьми о взрослой жизни, скомкала в ладонях фартук и спросила:

— Уезжаешь-то один?

— Один.

— Неужто никого на примете нет?

Леонид быстро поднялся с диванчика, прошел к окну и вновь засмотрелся на Москву. Ответил не сразу и, на удивление, с непонятной тоской:

— На примете-то есть...

Сердечная тайна сына встревожила Прасковью Михайловну, вероятно, не меньше, чем его внезапное решение уехать в далекий край. Со стесненным дыханием она спросила:

— Кто же такая?

— С нашего завода...

— Звать-то как?

— Светланой...

— Ты уж... открылся ей?

Чубатая голова Леонида медленно опустилась перед окном.

— Господи, весь ты в отца! — воскликнула мать с изумлением, в котором были и радость и боль, затем проворно поднялась с диванчика, подошла к сыну и, легонько уцепившись за его рубаху, прижалась щекой к широкой теплой спине. — Что ж ты, родимый, молчал?

— Так вышло, — негромко ответил Леонид.

— Значит, по сердцу она тебе, — заключила мать и, одобрительно, ласково погладив рукой богатырскую спину сына, продолжала: — Что ж ты, вояка ты мой, с боевой-то медалью, а так боязлив? — И вдруг попросила почти жалобно: — Поговорил бы, Леонидушка, сейчас-то, а? Женился бы...

— Теперь поздно, — отозвался Леонид и, осторожно обернувшись к матери, схватил ее несильно за плечи. — Поздно, мама!

— Вот отчего ты невеселый был, — грустно вздохнув, произнесла Прасковья Михайловна, но тут же с надеждой всмотрелась в лицо сына. — Ну, а она-то как? Примечал ведь? Может, она только и ждет твоего слова?

— С глаз бежит!

— Значит, любит...

У Леонида вдруг вспыхнуло лицо. Мать тут же опустила глаза, чтобы дать сыну время справиться с собой,

и с минуту задумчиво трогала пальцами пуговицы на его рубаше. Потом, все еще не решаясь поднять свой взгляд, стукнула ногтем в его грудь.

— Зря ты молчал! И зря молчишь!

— Не буду я, мама, вести с ней такие разговоры,— ответил Леонид.— Вдруг откажет? Что тогда? Как я поеду?

— А она не едет на целину? Позвал бы...

— Она не поедет,— убежденно ответил Леонид.

— Отчего же? Все едут.

— Не для нее это дело, мама.

— Городская очень?

— Да.

— А здоровьице ничего?

— Тоже городское.

— Слабенькая, значит...— Мать помедлила в раздумье.— Может, ты боишься, что и тебя-то, если узнает, отговаривать начнет?

— Да.

Только теперь Прасковья Михайловна наконец-то решилась вновь взглянуть в лицо сына, но едва лишь она увидела его, темное от боли и горя, у нее так и зашлось с испуга сердце.

— Неужто так и уедешь?

— Что ты, мама! — воскликнул Леонид.— Да разве я смогу так уехать? Как только все решится в комитете, обязательно встречусь с ней и поговорю...

— Откройся ты ей, сынок, откройся! — озабоченно попросила мать.— Хоть напоследок, а скажи... Пусть знает, а там уж ее дело. А так ведь оставлять ее нельзя: до осени много воды утечет.

— Знаю,— сказал Леонид.

— Стало быть, одному ехать,— в горестном раздумье заключила Прасковья Михайловна.— Одному тебе жить...— К ней вдруг вернулось то волнение, какое она испытала полчаса назад, узнав о решении сына. Она вновь залилась слезами и начала все сначала, как это и бывает в таких случаях.— Но ведь Алтай-то, Леонидушка, где-то очень далеко? — заговорила она, не в силах противостоять своему желанию удержать сына в Москве и по наивности думая, что ее замечание о дальности Алтая может отрезвить его.— Там же, рассказывают, совсем дикий край, сплошная зима!

Леонид заулыбался и спросил:

— Мама, а помнишь командира?

— Это какого ранило у нашей деревни?

— Ведь его фамилия Зима...

— О господи! — всплеснув руками, воскликнула Прасковья Михайловна. — Вот смутья-ан!

— Помнишь, как он рассказывал об Алтае?

— Помню, как же! Ох, смутья-ан!

— Умер, наверно.

— Помер! — убежденно произнесла Прасковья Михайловна. — Сам помер, а тебя смутил. Какое ведь тяжелое у человека слово! Вон как все вышло!..

III

...Немецкие войска отступали из Подмосковья.

С начала марта на утренних и вечерних зорях от речки Синей до Хмелевки стало доносить приглушенный гул артиллерийских канонад. Каждую ночь на востоке поднимались багровые, дрожащие зарева пожарищ; когда они сливались воедино, казалось, что над землей встает третья, незаконная в природе, зловещая ночная заря.

Со дня на день хмелевцы ожидали появления наших войск в родной деревне. С неуемной тоской смотрели они на восток. Но в середине марта, вместо того чтобы дойти до Хмелевки, фронтовая ночная заря, не одолев крутых берегов речки Синей, стала слабнуть, стихать, припадать к земле...

Однажды Ленька Багрянов, выйдя на задворки, долго наблюдал за востоком и прислушивался к утренним звукам весны. С крыши сарая падали, радужно вспыхивая на лету, крупные капли. Со всего восточного склона взгорья, почти освобожденного от снега, навстречу солнцу спешили, весело журча, проворные ручьи. У подножия взгорья, в березняке, за которым яркой голубизной сверкала полая вода, гомонили грачи. Но все это, всегда любимое, Ленька с радостью променял бы на звук одного орудийного выстрела от речки Синей.

Из-за угла сарая выглянул дед Зотей, единственный в деревне из ее взрослой мужской половины, ростом чуть повыше Леньки, худенький, с жиденькой грязно-зелено-

ватой бородкой. Помедлив, он окликнул парнишку сиплым, крикливым, старческим голосом:

— Ну как, партизан, каковы дела?

Ленька быстро оглянулся на знакомый голос, поражаясь тому, как смог дед Зотей подойти неслышно, и сердито заговорил:

— Ты чего кричишь? В своем ты уме?

— Горяч ты; ох горяч! — мирно заметил дед Зотей, становясь рядом с Ленькой и копаясь сухонькими пальцами в бородачке. — Чего ты такой горячий, а? Ишь шипит, как горшок в печи... Таким будешь произрастать, тогда что же из тебя выйдет? Ты всю деревню собьешь с покою. Чего слышать-то оттуда? — Он кивнул на восток. — Уши у меня ослабли, вот беда-причина...

Леньке стало жалко деда.

— Затихло, — ответил он грустно.

— Затихло?

Оглянувшись по сторонам, Ленька добавил:

— Наши силы подтягивают.

— Истинно, истинно! — обрадованно подтвердил дед Зотей. — У меня знамение есть.

— Какое знамение? — насторожился Ленька.

— А вон, погляди! На мой вяз гляди!

Когда деду Зотею было всего-навсего десять лет и его звали просто Зотькой, он посадил на огороде молоденький вяз, с которым был тогда одинакового роста. Прошло полвека, и вяз стал самым большим деревом в деревне. Однажды на благовещение на вершину вяза опустились серебристо-белые аисты. Около часа они торчали на вершине, поворачивая туда-сюда свои красноклювые головы. Выждав, когда они улетели кормиться на ближнее болото, Зотей Корнилыч приказал сыновьям срезать вершину вяза и закрепить на ней старую борону вверх зубьями. Охотно приняв помощь людей, аисты вскоре тщательно уложили на бороне толстый слой прутьев и устроили гнездо: никакие ветры не могли сорвать его с вершины вяза.

С той поры аисты появлялись в деревне каждой весной, сорок с лишним лет подряд и почти всегда в один день — на благовещение. Завидя птиц, дед Зотей радостно восклицал:

— Вот они, благо вещают!

И только весной 1941 года, когда деду Зотею исполнилось сто семь лет, аисты почему-то не прилетели. Дед Зотей закручинился, стал прихварывать, чахнуть и, не скрывая от сельчан, готовиться к смерти.

Теперь над гнездом вновь стояли аисты.

— Вернулись? — не утерпев, крикнул Ленька.

— Возвернулись, родные мои, возвернулись! — проговорил дед Зотей растроганно. — Вот теперь скажи: какое это знамение? Это, парень, благо они вещают нам, счастье... Придут скоро наши!

Только теперь Ленька вдруг с необычайной отчетливостью понял, что ожидания его напрасны.

— Эх, дед ты, дед! — неожиданно крикнул он сквозь слезы и, сорвав с головы шапочку, остервенело ударил ею оземь. — Ничего ты не понимаешь, дед!

За зиму Ленька прослыл в деревне большим военным авторитетом. Еще осенью за связь с партизанами гитлеровцы сожгли Хмелевку, случайно оставив только четыре избы, и потому партизаны, боясь поставить ее под новый удар, не появлялись в ней. Оторванные от мира, хмелевцы жили в полном неведении того, где и как идет война. Смышленный Ленька, успевший за лето и осень, вертясь около мужиков, поднатореть в военных разговорах, частенько солидно растолковывал женщинам, как идут, по его мнению, события на фронте. Раз а три он приносил партизанские листовки, уверяя, что находит их поблизости от деревни. В одной из них, всем на удивление, подтверждались Ленькины слова о разгроме немцев под Москвой. В последнее время Ленька убежденно предсказывал, что наши войска в середине марта будут в Хмелевке, и все женщины охотно верили парнишке.

— Нет, дед, — горестно заключил Ленька, поднимая шапку с земли, — не помогут твои аисты.

В конце апреля, как только просохли дороги, в Хмелевку нагрянули немцы. Они согнали всех хмелевцев в один двор, оцепили его, и тогда волостной староста Порфирий Мокрицын, почему-то мгновенно побурев, возвысив голос, объявил стоявшему впереди деду Зотею:

— Перепись, дед, будет! Понял?

Дед Зотей насторожился.

— Это какая такая? — спросил он и подставил старосте ухо.

— Всеобщая! — выкрикнул Мокрицын.
— А зачем? Мы давно-о переписаны!
— Это прежней властью, а теперь новая.
— Новая? А где-кося она? Это ты — власть? А чего тогда краснеешь перед народом? Или те власть, что за тобой?

— Здесь прифронтовая полоса, — пояснил Мокрицын, стараясь обойтись с дедом, которого знал давно, как можно мягче. — Здесь военное положение, а потому вся гражданская власть временно находится в руках наших освободителей.

— Это понятно, что временно...

Немецкий офицер, стоящий позади Мокрицына, вдруг шагнул вперед и молча ткнул старосту кулаком в спину, да так сильно, что тот едва устоял на ногах.

После этого Мокрицын действовал более энергично.

— Сейчас всех перепишем и выдадим бирки. — Он торопливо вытащил из кармана пиджака связку фанерных бирок с разными номерами и потряс ею в воздухе. — Вот они! Кто снимет — расстрел. Все ясно?

— Нам давно все ясно и понятно, — сердито, но тихо ответил дед Зотей. — А вот тебе-то ясно, чего вы затеяли? Я вон сколь царей пережил! Даже самые лютые цари не вешали мне на шею собачьи бирки! Это мы кто сейчас, выходит? А ну, дай сюда!

Дед Зотей неожиданно рванул связку бирок из рук Мокрицына; шнурок лопнул, и бирки разлетелись по луже. Немцы заорали, схватили деда и волоком оттащили в угол двора. Той же минутой прозвучал выстрел из пистолета. Дед Зотей свалился, поджал ноги, как любил спать всегда, и на виду у всех сельчан заснул навечно...

К старосте подходили семьями. Напуганные, дрожащие женщины, держа около себя всхлипывающих детишек, стояли перед ним, не видя света белого... Присаживаясь на чурбан, Мокрицын заносил всех в список, а затем самолично надевал на каждого бирку, неизменно твердя:

— Никогда не снимать! Увидят без бирки — расстрел!

Последней подошла Елена Лаптева с грудным ребенком, закутанным в легкое байковое одеяльце. Надев бирку на шею Елены, Мокрицын приказал:

— А ну, открой мальчика.

— Неужто и ему? Да вы что? Дите ведь!

— Открой! Тебе сказано?

Из глаз Елены брызнули слезы. Кое-как она раскутала ребенка и посадила его к себе на руку. Синеглазый худенький мальчонка, увидев перед собой бирку, вдруг схватил ее и начал вырывать из рук старосты, и Елена с ужасом подумала, что он почти точно повторил жест деда Зотей...

— погоди, наиграешься, — смущенно сказал Мокрицын и накинул шнурок с биркой на шею мальчонке.

Только Ленька и три его дружка не получили бирки. Ребят в это утро не оказалось в деревне.

Дело случая, но самым старшим из мужчин в избе Сергеевны, где после пожара ютилось более тридцати человек, был тринадцатилетний Ленька Багрянов. Это обстоятельство позволило Леньке считать себя совершенно взрослым и всегда испытывать суровое чувство ответственности за судьбу всех живущих вместе с ним под одной крышей.

Вся зима прошла у Леньки в бесконечных хлопотах. Вставал Ленька рано и, схватив кусок хлеба, если он был, уходил из избы, надевая на ходу шапчонку и пиджачишко. Вместе со своими дружками он собирал по деревне обгорелые столбы и бревна, пилил и колол дрова, расчищал двор от снега, таскал из колодца воду, молол рожь на самодельной мельнице... Чем только мог, Ленька в равной мере облегчал жизнь всех обитателей избы, и те, видя его безмерное добросердечие и бескорыстие, с завистью шептали Прасковье Михайловне:

— Радуйся, мать!

С наступлением весны Ленька вместе с дружками день-деньской бродил по лесам и лугам вокруг Хмелевки. Ребята добывали рыбу, пустив в дело все наличные снасти, и особенно много уток. Правда, ловили они птиц жестоким, браконьерским способом: ставили на озерах подпуска, наживленные рыбьими пузырями, и жадные утки, налетев стаяй, в драку заглатывали вместе с пузырями рыболовные крючки.

В это утро ребята, возвратясь с добычей, застали много хмелевских женщин во дворе Сергеевны, а деда Зотей, обмытого и обряженного в последний путь, на широкой лавке в сенях. К удивлению женщин, ребята

молча и хмуро выслушали их крикливый, слезный рассказ о новом несчастье в деревне.

Подойдя к сыну — он сидел на чурбане, опустив голову, сдерживая подрагивающее колено, — Прасковья Михайловна жесткими пальцами потрогала его волосы.

— Как жить-то будешь?

— Без бирки? — догадался Ленька. — Велика беда!

— А если попадешься?

— Я не попадусь!

Деда Зотей похоронили под его вязом.

Долго не спал Ленька в ту ночь. Когда крепкий первый сон одолел всех, он осторожно приподнялся и при лунном свете, проникавшем в единственное окно, не забитое паклей и досками, осмотрел спящих, — они лежали под разным тряпьем на низких нарах, застланных истертой соломой. Мать, потревоженная Ленькой, зашевелилась, раза два двинула рукой, словно бы отстраняя кого-то, и сбила с себя и маленькой Катюши ватное одеяло. Ленька прикрыл мать и сестренку, ласково, со вздохом сказал им мысленно: «Спите, милые, спите!» И в эту минуту Леньке вдруг особенно сильно, как никогда за все время разлуки, захотелось видеть отца.

Ленька был в таком возрасте, когда мальчишки, особенно деревенские, не очень-то любят родительскую ласку, даже избегают ее, считая, что всякое ласкание — недостойное мужчин дело. Иван Багрянов в свою очередь высоко ценил стремление Леньки быстрее взрослеть и вместе с тем его нелюбовь к излишним нежностям. Поэтому отношения между отцом и сыном Багряновыми были на редкость деловыми и, как все истинно деловые отношения, добрыми, сердечными.

Любое крестьянское дело Иван Багрянов делал смело, уверенно, сноровисто, с большой любовью. Леньке очень нравилась отцовская напористость в жизни, его живой, неугасимый огонек в работе. Ленька во всем старался походить на отца. Он тоже охотно брался за любое дело, работал всегда горячо и во многом уже не отставал от взрослых. Но особенное наслаждение испытывал Ленька, когда приходилось работать рядом с отцом: работа приобретала тогда сокровенный смысл и отличалась особой легкостью и красотой. Наибольшим для себя счастьем Ленька считал охотничьи походы с отцом. За один только

день, проведенный с ним в лесу или на озере, Ленька узнавал так много интересного и о жизни природы, и о людской жизни, что об этом рассказывал потом друзьям целую неделю.

Вот теперь весна. Не будь войны, сегодня перед рассветом отец тронул бы его тихонько рукой, и Ленька, ментально вскакивая, спросил бы озабоченно: «Проспали?» А потом бы он со своей одностволкой на плече и с пестерькой, в которой шебаршит подсадная кряковая утка, пошел бы рядом с отцом на озеро.

Ленька отчетливо представил, как они идут в темноте, оступаясь в ямки и толкая друг друга, и ему даже почудилось, что он слышит голос отца. Весь дрожа, Ленька улегся на свое место и с открытыми глазами пролежал до рассвета.

Утром матери запретили ребятам выходить из деревни.

Вскоре обнаружилось, что без ребячьей добычи сразу же для всех наступило голодное житье, даже для собак и кошек. До пожара в Хмелевке на каждом дворе была собака, в каждом доме — одна, а то и две кошки. Теперь все они жили около четырех изб. Хмелевцы жалели несчастных животных, всю зиму подкармливали их чем могли, но теперь вынуждены были гнать от себя. Стаи давно отощавших, линяющих собак жалобно, не мигая, смотрели на всех, кто выходил на крыльцо, дрались на помойке, уныло бродили вокруг дворов, обнюхивая все, что попадалось под ноги. А кошки от бездомной жизни уже одичали за зиму; далеко от жилья они не уходили, но, завидя человека, бросались от него как ужаленные; по темным углам на чердаке, под сенями, под крышей сарая, в печах на пепелищах, в прошлогоднем бурьяне у огородов — всюду можно было видеть горящие, дикие кошачьи глаза.

Через неделю у хмелевцев вышло все зерно. Тогда хмелевцы решили открыть заветную яму, где была спрятана редкостная сортовая пшеница, оставленная на семена, — о севе не могло быть и речи... «Зерно дорогое, — рассудили они, — а люди еще дороже».

Несколько лет назад Иван Багрянов, беспокойный, всегда ищущий что-то в жизни, всегда занятый разными опытами в колхозном хозяйстве, раздобыл немного пшеницы «Вятка» и стал выводить из нее особый сорт. Его